

Тамара Корвин

И М И Е Р А Т О Р

Я в детстве знала мальчишку - он мог наполеоновских маршалов перечислить всех до единого. Встретил в книге "герцог Тревизский" - и мигом: а, Мортье! "Герцог Экмольский!" а, Даву!" "А ты кто?" спрашивал. "Я Ней, храбрейший из храбрых, герцог Эльхингенский, князь Московский!". И полез ко мне целоваться. Я его отпихнула, подрались, разругались и больше друг к другу не подходили.

Зачем князь, зачем герцог, если есть Наполеон?

Это как святой Христофор: он слуга ищет себе хозяина сильнее всех, чтоб не обидно служить. Мне о нем рассказывал один лингвист, которого я любила, интеллектуал высшего класса. "Разумеется, - сказал он, - святой Христофор в конце концов находит Бога."

- Почему разумеется?

- Назидание на фольклорной основе, - и начал объяснять.

Я спросить хотела, разумеется ли Бог, и вообще о смысле жизни и последней истине. Но лингвист от таких разговоров краснел, смущался, вставал и беспокойно блуждал по комнате. Ходил где место было - горячей сигаретой не ткнуть в пеленки. А я-то их поперек комнаты вешала. Хороший он был человек, моего сына как своего принял, игрушки носил и на руках баякал. Я умилялась, а иной раз и противно было...

Я его любила, но любовь была вторая и потому не годилась. А первая любовь был муж цокойный, светило, Норберт Винер, то есть Вернер фон Браун, друзья говорили - если б не такой суперсекретный, то хоть сегодня Нобелевский лауреат. Вечером жду его, жду, наконец придет - и не видит, какая на

мне новая открытая кофточка. А было мое неглиже что бланинаже, откуда что бралось, да, а теперь куда что лежалось, ну и ладно, не жаль. Я все свое уже сделала и доделала.

Муж придет - и нос в телевизор. Репортажи, пейзажи, дурацкие фильмы с середины, все подряд. "Да как можешь ты, - говорю, - этот ультрасуперэкстракретинизм смотреть! Ты интеллектуал или нет?"

- Понимаешь, - отвечает он улыбаясь без участия глаз, - мне там устроили оптимальный режим, да не преткнется нога моя о камень и желанья мои да исполняются прежде нежели высказу, - чтобы мой мозг работал и работал без помех и ни одна пылинка его не по назначению. Денег не жалю, в буфете икра, и буфетчицу нашли красавицу из романа, да не сердись, она так - карманного романа, ты же моя любовь земная и любовь небесная...

- И потому ты в ящик пялишься?

- А мне это идиотское мельканье - забвение, лотос, река Лета. Я иначе думать остановиться не могу. Или ты хочешь что я плачу?

Это чуть ли не в первый раз и последний он со мной обнялся. Нет, я не была жена заброшенная или жена обиженная: пускай молча, но он мне доказывал и так доказывал свою страсть... ну это не для чужих ушей. Я хочу сказать, что дома у нас была страсть - но ведь тоже и там страсть! Не "любовь и долг", коллизия классицизма, а страсть на страсть. И той своей страсти он служил. А я ему служила, своей к нему страсти, его страсть ее страстью ненавидя.

И тем утешалась, что Наполеон с женщинами тоже на ходу, не отстегнув шаги. Я в муже искала сходства с Наполеоном - не внешнего, хотя Наполеон на Аркольском мосту чудо как хорош, ангел смерти с развевающимися волосами и со шпагой! Но уже очень скоро - толстый и желтый и волос мало, какие-то слипшиеся. На картине Делароша он сидит - и видно, что маленького роста. Я его в детстве видела: стоял у родителей телевизор, мы перед ним сидели, и в каком-то фильме Наполеон появлялся на коне. Однажды я сказала лингвисту: "Наполеон говорил, что дух в конце концов побеждает шагу, я долго изумлялась, как это он, именно он мог такое сказать. А теперь понимаю: он про тот дух, который равен его шагу. А

то ведь духом что попало зовут." Сказала - чтоб тонко ему
польстить, ну и себе цену набить немножко.

А мужу я о Наполеоне не говорила. Он бы приревновал,
наложилась бы его ревность на мою ревность, и на мою обиду
его насмешки. И запуталось бы все не приведи Бог. С мужем -
и без того творилось неладное. Стал вялый и скучный. И гру-
бый, друзья мне звонили: покрыл матом буфетчицу. Страшно
мне было... "Поговори со мной, - просила я, - скажи слова-
ми!" Вдруг он приходит ко мне в кухню, в левой руке листок
бумаги, в правой американская ручка Паркер, - "ты послушай,-
говорит, - вот когда воин стоит в доспехах, в панцире чешуй-
чатом как черепица и совсем один, а по обе стороны враждеб-
ные толпы, ему надо стоять посредине,

чтобы точно посредине -
отразилось бы сверканье
справа-слева в чешуе,
глаз горит в чешуйке каждой.
Покориться бы не этим,
вровень на земле стоящим,
а единственному солнцу
независимому в небе ...
как вчера, так и сегодня,
и вовеки будет завтра:
не останется ни тени,
только солнце и земля.
Без обоих темных полчищ
на земле пустой и чистой
будет несравненно лучше, -
а пока пляши вприпрыжку
то на правой то на левой
и кружись-вертись на месте,
с места не сходи, прикован
то ли страхом то ли страстью...

- Это ты написал? Ты и стихи можешь, как титан Ренес-
анса!

- Да полно, - усмехнулся он, - кто же стихов не пишет.
А через две недели...

Сказали - несчастный случай. По пьянице. Долохов, дес-
кать, сидел на подоконнике с бутылкой и удержался, а он нет.

Это он-то. Который в рот не брал. Нет, тут другая музыка. Что мне медицинская экспертиза, экспертиза ничего не доказывает.

Но я молчала. Я хочешь-не хочешь дальше жила, у меня сын маленький. Римский король, так я его звала, забывая для такого случая, что бедного мальчика в Шенбрунне довели до чахотки. Только я-то сама кто была, скажите на милость: Мария-Луиза? Жозефина, графиня Вадавская?

Но я все-таки жила. И себя держала: если служить, так не кому попало.

Хозяйство вести я умела, но с лингвистом у нас хозяйства не получалось. Я зарабатывала мало, он редко. Курил изо рта не вынимая, пепел сыпал всюду; с ним и я курить начала, и он хоть рассеянный, а ни разу не забыл мне зажигалкой щелкнуть. Он молодой совсем, а уже язвя, я б его дормила поаккуратнее, но мне с утра на работу, а он спит, и до полудня проспит, а встанет — курит натощак и всухомятку глотает.

Он работал ночами. А по вечерам разговаривали обо всех вещах познаваемых и еще больше о непознаваемых и невещественных. Я спрашивала, он отвечал. И не то, чтоб он говорил недонятно. И не было в нем ученого высокомерия, а во мне наглости невежества. Его слова обыкновенны, даже слишком обыкновенны... будничные... Слов главных и настоящих он как бы избегал. Откладывал. Для какого такого праздника?

Ну понятно, я тоже не буду лучшее свое торжественное платье каждый день таскать. Висит оно в шкафу, а надеть все как-то некуда и месяц и год, и выходит из мои, а дальше глядишь его моль съела, нынче моль приспособилась, синтетику ест. Он если и произносил эти слова, то не всерьез. Будто в кавычках. И сразу мне тоже делалось неловко, неприлично спрашивать о жизни и последней истине. А вообще у нас все было хорошо. И сын подрастал.

И тут появилась девчонка. Так себе девчонка, по плечам волосы черные прямые, и ничего в той девчонке не было кроме характера. У кого страсть, а у этой характер. Вопросов она ему не задавала, ни даже лингвистических профессиональных, хотя вроде для того в нашу жизнь влезла; но мертвой хваткой в него вцепилась и уж он ни рукой ни ногой двинуть не мог, ни головы повернуть.

Она сказала:

- Ему нужен телевизор.

Я говорю:

- Еще чего! Рафинированному эстету такая пошлятина!

- Вы не понимаете. Ему это, как болрящая инъекция: первоклассный абсурд, высший абсурд, Беккет-Монеско такого не напишут!

Гляжу я на девчонку... ну с моей-то фигурой не в манекенщицы, и рожала, и за тридцать, и хоть не обжора, а все на ночь хлеб да картошку. Ну пусть, но неужели лучше ребра! ключицы! коленки! из джинсов торчат. "Я тебе вырезку дам из журнала, - говорю я ей, - комплекс специальной гимнастики, - хоть мышцы на икрах нарастишь, а то милого в постели ногами изувечишь, локтями проткнешь. Твигги-то прутики разве из моды не вышли?"

Да что толку с сарказмов. Вот разве посуда цела, а то начнешь бить, а потом подбирай, мети до последнего осколочка: по полу малыш ползает.

И вдруг лингвист мне предлагает: давай поженимся. Девчонка тут же сидела - коленкой дернула, но ни слова. Все мы трое за столом водку пили, девчонка очень хорошо пила и ничего не ела. И маленький в кроватке спал.

А, думаю, узду ты на себя, маленький, надеть хочешь, как человек нисколько не подлый. Но ясно же, что не я тебе пара, а Твигги. Женись не женись - будем втроем мучиться, грех, вред и бред, Достоевский девяносто восьмой пробы.

И сказала ему:

- По-моему, если ты лингвист, то слово твой дух и твоя шпага, эссенция и экзистенция. И я от тебя ждала слова о жизни и последней истине, а ты, император слов и точности король, ты мне всякий раз вместо хлеба камень. - Он поднял голову, протянул руку, - да нет, - говорю, - нет, мальчик мой, я не в обиде, я же вижу, ты не по злой воле, а просто у тебя в голове и в сердце каша, как и у всех.

Девчонка сигарету бросила, другую схватила, он ей зажигалку, и говорит девчонка тихонько, чуть слышно:

- Санкта симплиситас!

- Нет, - отвечаю, - это не его костер, это мой. Я как подумаю, до какого ужаса он во мне ничего не смыслит - мне

и горько, и сладко.

Он сказал: "Ну давай я тебе деньги давать буду, для ребенка..."

Он честно обязывался. Но какие у него деньги? Разва два давал, нет, даже три, но я комнаты меняла, меняла и адреса не оставила. Да он помнил ли - мальчик у меня или дочка?

А сын рос. Римский король, ребенок как ребенок, потом юноша как юноша. Не в нем, не в размерах личности его было дело, а в том, что началась у меня тогда страсть к быту и дому, эта страсть в меня однажды ночью проникла, с ней я проснулась и как впервые увидала: потолок и пол, жизнь и смерть, белье и посуда. И так много лет подряд, пока не подошло время, и Римский король женился. Что ж, было двое, стало трое, а все хозяйство по-прежнему делала я сама. Паркет начирала до золотого сияния. И не уставала, не болела, не старились. Дела мои были - изо дня в день, а что сверх того, так мне не до того. Разве я не высшему служила?

И захотелось мне их испытать, невестку и сына. Вымыла одну паркетину с мылом, тряпочка в двух водах полоскана. Намазала мастикой и щеткой натерла, суконкой отшлифовала. Заблестела длинная узкая паркетина как шага -- то есть уже вещественное шаги не осталось, а только блеск, чистое пламя духа. И сияло посреди комнаты на самом видном месте как идеал, призыв и вызов. День я ждала и другой и третий. Блеск потускнел, а потом и вовсе пропал: на него ногами наступали.

Я невестке ни слова не сказала. Я же не ведьма-свекровь, да и зачем? Не поймут. Что она, что Римский король. Он, бедняжка, я ни разу не видела чтобы воспламенялся: так все потихоньку, то потухнет то погаснет. Скучно мне стало, и я с ними разъехалась.

Они себе сына рожили. Он ко мне часто бегает. "Ланну," говорит, - ноги оторвало, а моно, герцог д'Абрантес, с ума сошел." А я одна живу, и все мои страсти кончились.

Святой Христофор тоже устал, наверно, под старость: то землю рыл, то камни катал в гору. А Богу служить легко: сиди и люби его, и все служение. Сидишь себе на солнечнике закрыв глаза, грешишь или дремашь, а можно и вовсе заснуть и во сне кого-нибудь видеть: а может быть это и есть Бог. Если Бог приснится - чего же лучше?